

...Хуже татарина

Анастасия Васильевна уже собиралась спать и расправляла постель, прислушиваясь к телевизионному новостному фону, когда на тёмной улице резко взлетел Мазурик, а следом в дверь несильно, но настойчиво постучали. Хозяйка накинула телогрейку, сунула голые ступни в валяные опорки и нырнула в морозные сени.

— Кто там? — строго спросила она. А в ответ услышала высокий скрипучий голос:

— Я приглашаю вас сюда —
В основной край под синим сводом.
Радушно примем вас всегда:
И я, и дом мой, и природа!

Анастасия Васильевна удивлённо распахнула дверь и увидела незнакомую женщину. Около ног той стояли две большие клетчатые сумки, за спиной тянул к земле тяжёлый рюкзак, а перед собой она держала газету «ЗОЖ».

— Вот я к вам и приехала! — женщина бесцеремонно стиснула растерянную хозяйку в объятиях.
— Ну... проходите, — беспомощно пригласила та.

Незваная гостья бодро вошла в дом, сняла не новое и не чистое пальто, повесила его на вешалку рядом с аккуратными вещами Анастасии Васильевны, закинула туда же мокрые от растаявшего снега шапку и шарф, оставила у порога разбитые сапоги и без приглашения протопала в залу. Там она внимательно осмотрелась, потрогала безделушки на комод, на ходу коротко полистала фотоальбом, зачем-то пощупала подушку на кровати Анастасии Васильевны, пощёлкала пультом от телевизора, переключая программы без толку и цели.

Анастасия Васильевна в это время поставила чайник, достала из буфета чашки и сахар, выложила хлеб, масло, кусочек сыра. Пока она хлопотала, гостья занесла в залу свои сумки и рюкзак, села на расстеленную кровать и стала копать в своих вещах, выкладывая на пол, на стулья, на комод какие-то бесконечные пакеты, кофты, вязаные носки, халаты и прочие тряпки. Наконец она выудила из рюкзака что-то завернутое в несвежий носовой платок, принесла это к столу, развернула и выкатила на клеёнку слипшийся комок «дунькиной радости».

За чаем выяснилось, что гостью зовут Тamarой, она откуда-то с юга, есть у неё там сын, лет ей под семьдесят, ехала от Москвы на электричках, потом на попутке... Но более охотно Тамара говорила не о себе, а о газете «ЗОЖ» и о стихах Анастасии Васильевны, цитировала их, иногда, впрочем, влетая в строки, действительно написанные хозяйкой дома, чьи-то чужие. Призналась, что всю жизнь завидовала тем, кто умеет сочинять, и всегда мечтала познакомиться с поэтом. И вот её мечта сбылась! Спасибо газете «ЗОЖ»!

Так всё и прояснилось: редакция газеты «ЗОЖ» рядом с письмами читателей в обязательном порядке печатает адрес отправителя — люди просят выслать лекарственные травы, настои или предлагают собственные рецепты здоровья. Но Анастасия Васильевна послала в газету «лечебные» стихи! Читатели нередко писали благодарные отзывы, присылали свои вирши, с некоторыми завязалась настоящая дружба по переписке. Но личное явление поклонницы её поэтического дара случилось впервые.

После чая сразу легли спать. Хозяйка уступила гостье свою любимую удобную кровать, а сама приютилась на старом продавленном диванчике, где уснула лишь под утро, вынужденно слушая здоровый, ровный храп Тамары.

...Ночь бессонная, словно глухая стена.
И подушка, как камень, и сорочка тесна.
Память тянет из прошлого всё, что не жаль.
Память, что ты! Так больно не жаль!..

Истопив поутру печь и напившись с Тамарой кофе, Анастасия Васильевна пригласила её на экскурсию по родной деревне.

Тихий морозный день сплёл кружево для всех деревьев, для каждого кустика и сухой травинки в округе. Солнечные искорки рассыпались на снежной равнине, раскинувшейся за селом, и на крышах домов, над которыми кой-где медленно, замороженно тянулись струи печных дымов.

Анастасия Васильевна показала Тамаре школу, где проработала всю жизнь учительницей русского языка и литературы. Двухэтажное кирпичное здание теперь стояло с выбитыми стёклами, в пустых классах гулял ветер. Они прошли мимо старой каменной церкви, прогнившая крыша

и провалившийся купол которой сплошь поросли молодыми берёзками. Постепенные вокруг стен лет десять назад одним местным предпринимателем строительные леса покосились и почернели. Зашли в магазин, бывший в лучшие времена большим универсамом. От него осталась лишь мелкая продуктовая лавочка, вместившаяся со всем своим нехитрым товаром в низенькую пристройку. Над заброшенным дк, в ветвях высоких лип скандалила хулиганская воронья компания. У колодца лежал старый пёс. Уткнув от мороза нос в густой мех, он продолжал зорко следить за происходящим. Анастасия Васильевна достала из кармана пальто целлофановый пакетик и высыпала перед ним куриные косточки.

Гуляли они долго, но встретили лишь двоих соседей-стариков. Посмотрев чужими глазами на свою опустошённую деревню, Анастасия Васильевна даже всплакнула. Где всё? Где все? Куда разбежалась-разлетелась шумная разновозрастная орава её учеников? В города? В лучшую жизнь? Куда ушли подруги, коллеги-учителя? Многие вон там, в берёзовой роще, лежат холмиками под густым снегом. А ведь какие весёлые интересные праздники проводили они когда-то в Доме культуры, где она помогала ставить сценки и спектакли по русской классике. Талантливой Ларисе Сошиной настойчиво рекомендовала поступать в театральный... Лариса уехала в город, но не заладилась ни с учёбой, ни с работой, ни с личной жизнью. Вернулась домой, спилась. Ходит занимать у бывшей своей учительницы деньги. Помогает копать огород весной... В церкви в советское время был музей. Анастасия Васильевна с учениками в каникулы ходили по деревням, собирали предметы старины, устраивали тематические выставки, мечтали создать свой фольклорный коллектив. Однажды церковь загорелась... Что успели спасти из исторических ценностей, увезли в районный краеведческий музей. Там затерялось... Так прошла жизнь. Но кто скажет, что была она бессмысленной? Повзрослевшие ученики — словно её выросшие дети. И дети этих детей. И внуки... Судьба не подарила Анастасии Васильевне своих ребятшек, но она воспитала целый полк хороших людей из своих учеников! Разве этого мало? Разве это всё зря?

Всю свою жизнь она описала в стихах. Она выплакалась в них, она ими излечилась от душевных ран. И вот теперь они служат ещё кому-то, врачуют ещё чьи-то души. Разве этого мало для счастья?

...Родная деревня, прости же, прости меня!
За то, что поля твои стали пустынными!
И что не услышишь на улице оклика.
Лишь чёрная стая всё кружится около...

В деревне гость — только первые три дня гость. Дальше он должен либо поблагодарить хозяев

и отправиться восвояси, либо включиться в домашние дела, коих в деревенском быте бесконечно и монотонно много.

На пятый день Тамариного гостевания Анастасии Васильевне доставили долгожданные дрова, и она принялась возить их на садовой тачке от кучи, сваленной у калитки, в дровяник. Расстояние вроде и невеликое, метров тридцать, и работу эту она любила — нравилось ей укладывать чистые берёзовые полешки ровными рядами, радостно глядя, как заполняется полуопустевший сарайчик — но и от помощи не отказалась бы.

Тамара за четыре дня даже не предложила помыть посуду, не то что дрова укладывать. Печку топить она не умела. Разгрести снег не хотела. Воду носить ей тяжело. Она не застилала поутру свою постель, не предлагала сходить в магазин, питаюсь — и с аппетитом! — на невеликую пенсию хозяйки. Зато умело создавала беспорядок, повсюду разбрасывая свои вещи. Сидела в доме у телевизора как прикованная и смотрела передачи, которые Анастасия Васильевна на дух не переносила — все эти скандалы, грязное бельё звёзд... И очень громко смотрела... У Анастасии Васильевны поднималось давление... Ей было неудобно спать на диванчике, стала ныть спина и левая рука. Она не могла открыто сказать, что денег скоро не останется даже на хлеб, а до следующей пенсии ещё жить неделю... Она боялась обидеть Тамару — всё-таки та скрашивала её одинокие вечера беседами о литературе и поэзии. Успокаивала она себя тем, что, наверное, через неделю гостя начнёт собираться домой.

Но вот и куча дров вся, до последнего полешка, переместилась в сарай, и пенсия закончилась, и неделя миновала, а их совместный с Тамарой быт не претерпел никаких изменений.

Вечером десятого дня Анастасия Васильевна словно бы в шутку спросила: не хватятся ли Тамару родные. На что получила ответ, что родных нет и хвататься некому. Тогда, собравшись с духом, хозяйка сообщила, что завтра им не на что купить продукты. Тамара легко парировала слабую просьбу о деньгах, сказав, что на вокзале у неё всё украли, даже документы. Поэтому и домой не уехать. Анастасия Васильевна нервно закашлялась, с трудом сглотнув это известие, подумала с минуту и искренне предложила купить билет с её предстоящей пенсии, но получила удар-нокаут: Тамара решила остаться насовсем. Ей здесь очень понравилось!

Ночью Анастасия Васильевна дважды вставала накапать себе валокордину. Посидела у окна, тихо и грустно глядя на чернеющий в темноте ельник. Всю жизнь она старалась оставаться вежливой и предупредительной с окружающими. Ни разу за семьдесят два года с её уст не сорвалось крепкого бранного слова. Если она не могла помочь кому-то

в ответ на просьбу, то долго извинялась и затем не одну неделю носила в себе тонко и досадно ноющее чувство вины. Стремилась не указывать, не укорять, не обвинять огульно, вникала в чужие проблемы, как в свои. Она терпела неудобства и обиды. Умела прощать и быть снисходительной к человеческим слабостям. Только измену мужа не смогла простить... Поэтому уже давным-давно жила одна. Но при всём этом сохраняла прямую спину, бодрый дух и мечтательность натуры. И вот настал час, когда ей впервые в жизни понадобилось оскалить зубы, ради себя, ради своего здоровья и покоя...

... Друг для меня— святое слово!
За друга жизнь отдать смогу.
К нему беда стучится снова?
Я вновь на вырубку бегу...

Участковый милиционер слушал Анастасию Васильевну терпеливо и внимательно.

— ... может быть, ссора какая-то семейная, может, несчастье какое, вот и пришлось человеку в путь отправиться. Я ни в чём её не подозреваю и не прошу вас подозревать. Но нужно попытаться разыскать её родных. Я вот тут на бумажке написала, что удалось узнать. Я не уверена, всё ли здесь правда. Но можно попробовать послать запрос. Вдруг кто-то ищет человека.

Участковый пообещал помочь.

Михаил Иванович, глава сельской администрации, под конец рассказа расхохотался:

— Вечно вы, Анастасия Васильевна, со своим принципом человеколюбия в истории попадаете! Нельзя же так! Может, в этот самый момент, пока вы тут у меня сидите, она ваш дом обчистила и чешет себе с добычей куда глаза глядят!

— Ой, ну как можно! У меня и брать-то нечего. Пенсия кончилась. Деньги за дрова—отдала. Смертные хорошо спрятаны, не найдёшь!

— Не найдёшь...— проворчал глава и перестал веселиться. Потому что веселиться тут было не от чего. Михаил Иванович подумал, посмотрел что-то в бумагах, позвонил кому-то и сказал.— Есть пустующая квартира в бараке на Лесной...

— Я знаю, там Лариса живёт!— кивнула Анастасия Васильевна.

— Живёт...— мрачно согласился собеседник.— Не самое замечательное соседство. Но это всё, что могу предложить. Временно! Заметьте! Максимум до апреля. Запас дров там есть. Мебелишка кой-какая...

— И хорошо! И отлично!

— И это только для вас! Заметьте! Только потому, что я вас всю жизнь знаю. На одном доверии, так сказать...

Выйдя из начальственного кабинета на вольную улицу, Анастасия Васильевна испытала несказанное облегчение. Всё складывалось как нельзя

лучше. Всю ночь накануне она обдумывала своё положение и к утру пришла на компромиссу: и человека не выгонит совсем, и о себе позаботится.

К вечеру следующего дня она, с Ларисиной помощью, переселила Тамару в выделенную квартиру. К двум клетчатым сумкам и рюкзаку, с которыми гостя приехала, добавилось ведро картошки и пакет различных овощей из подвала Анастасии Васильевны. Одеяло, подушка и комплект постельного белья. Старый, но ещё хороший чайник, кастрюлька, по паре ложек и вилок, несколько тарелок и большая кружка. Анастасия Васильевна сунула Ларисе зелёную тысячерублёвую бумажку из самых сокровенных запасов, та сбегала в магазин, купила продукты для скромного новоселья. Они посидели немного, без спиртного, потому что Лариса была «в завязке». По-трезвому тихая и услужливая, она согласилась топить печь у новой соседки, носить ей воду. На том и расстались.

С наслаждением вытянувшись на своей кровати Анастасия Васильевна с грустью подумала о былой и напрасно растраченной красоте Ларисы, о своей молодости и не сложившемся семейном счастье, о трудном стариковском одиночестве. Но затем отмахнулась от тяжёлых дум и по заведённой давно привычке принялась слагать строчки будущих стихотворений. В мыслях подбирала рифмы, эпитеты, иногда проговаривала вслух ритм. Это поэтическое упражнение полностью уводило её от реального мира в мечты, в необъяснимое светлое и невесомое пространство, заполнявшее всё её существо и воздух вокруг... Она становилась лёгкой и крохотной, как пылинка, вьющаяся в луче солнца, и отплывала в сон легко и бесстрашно...

... Вот я лежу в перине облаков,
И вижу землю сверху, словно птица.
Но сон обманчив, и вовек веков
Поутру к жизни нужно возвратиться...

Так миновала зима. Из морозного и солнечного февраля родился ветреный и пасмурный март. Несмотря на отселение, Тамара регулярно приходила к Анастасии Васильевне обедать, а вечером с завидным упорством напрашивалась посмотреть свои любимые ток-шоу. Анастасия Васильевна и здесь смогла обойтись без конфликта: тарелки супа ей не жаль, а во время ненавистных телепередач она стала прогуливаться перед сном и находила в этом большую для себя пользу.

Пару раз она встречала участкового, но никаких новостей тот не поведал. Анастасия Васильевна с удовольствием и не без скрытой гордости отмечала, что относится ко всему спокойно, внутри не вскипает ни малой волны сопротивления обстоятельствам и житейским мелочам. Она отметила, что не испытывает и привычного чувства вины, мучавшего её когда-то в самых ничтожных ситуациях. Она всю жизнь хотела научиться такому

ровному и мудрому приятию жизни, не равнодушию, не апатии, нет, а внутренней тишине. Анастасия Васильевна открыла в себе это духовное достижение через Тамару и потому была сейчас благодарна той за появление в своей судьбе...

Утром девятого марта её разбудил громкий и тревожный стук в дверь, затем ещё более пугающий — в окно. Анастасия Васильевна выглянула и увидела растрёпанную Ларису, которая размахивала руками и орала что-то, без стеснения матюгаясь.словно пуля, в висок Анастасии Васильевны выстрелило слово «горим!»

До Лесной бежать далёконько. Ещё из-за поворота завиднелся чёрный дым, валяющийся из окон Тамариного жилища. Рядом толпились люди. У некоторых в руках вёдра. Лариса, добежавшая до дома гораздо быстрее Анастасии Васильевны, кричала на Тамару, стоящую на улице на ветру в одном халате, грубо толкала её. Когда, тяжело дыша, Анастасия Васильевна доковыляла-таки до места происшествия, из дверей квартиры вывалился кашляющий и матерящийся Михаил Иванович и выкрикнул: — Отбой! Окна и двери настезь — всё вытнет!

Собравшийся народ поплевался и стал расходиться. Анастасия Васильевна слышала обращённые в свой адрес фразы: «спалит твоя подружка дом, как пить дать...», «...откуда только её лешие принесли?», «...вечно Настька всякую шваль жалует да подбирает...»

Замотав лицо шарфом, Лариса вошла в квартиру Тамары, где через минуту с грохотом настезь распахнулись окна. Дым сперва повалил сильнее, а потом стал рассеиваться и вскоре совсем ушёл.

Трясущаяся то ли от страха, то ли от холода Тамара не проронила ни слова. Анастасия Васильевна не хотела ни утешать, ни увещевать, ни вообще когда-нибудь ещё её видеть. Молча она вынесла ей из квартиры пропавшее гарью пальто и пошла прочь.

Позже выяснилось, что хорошо выпившая накануне в честь женского дня Лариса не пришла к Тамаре топить печь. Перебившись день, наутро Тамара сама решила разжечь плиту и открыла только одну, ближнюю задвижку. О существовании второй, нижней, она и не подозревала. Дым, разумеется, повалил внутрь...

Всё обошлось, но история эта, почти анекдотическая, всколыхнула волну негодующих откровений и ропота односельчан, посыпавшихся на бедную голову бывшей учительницы. Так Анастасия Васильевна узнала о похождениях Тамары в родной деревне: у кого, когда и сколько она заняла и не отдала, как клянчила продукты и одежду, как жаловалась на то, что подруга её сначала сама пригласила жить, а потом выгнала, что всю пенсию приходится отдавать за эту холодную грязную квартирку сельсовету, жить ей не на что и никому она не нужна.

Лариса встала в позу, чтобы старуху убирали подальше, пока та не спалила всех. Михаил Иванович вызвал на беседу Анастасию Васильевну и участкового и предложил отправить Тамару во временный приют для бомжей.

Полностью отказавшая Тамаре в своём участии и общении Анастасия Васильевна бессонными ночами молилась о прощении и освобождении.

...Тропинка, как пряжа в руках —
Перепутаны нити-дорожки.
Куда же по ней приведут
Мои старые бедные ножки?...

Дородный неприветливый мужчина молча погрузил две клетчатые сумки и рюкзак в бело-грязную иномарку и зло захлопнул багажник. Тамара сидела в холодной квартире на табурете, вцепившись в него пальцами намертво.

Анастасия Васильевна, Лариса и участковый молча взирали на это. Слова все закончились. — Я тебя вместе с табуреткой твоей в машину засуну и увезу... — зло прогудел, склонившись над матерью, сын. — Отпусти... — он стал по одному отдирает её пальцы, но тщетно. — Отпусти, я сказал!.. Так бы и двинул тебе!

— Может быть, поэтому она с вами и ехать не хочет? — строго спросил участковый.

Мужчина только досадливо махнул рукой и ушёл на улицу курить.

Анастасия Васильевна подошла к Тамаре и осторожно, успокаивающе положила ладонь ей на голову:

— Надо ехать, Тамарочка. Сын такой путь проделал, натерпелся по нашим дорогам... Пожалей ты его. Там у вас тепло, уже цветёт всё. Не то что у нас — слякоть да серость. Внуки там твои. Могилки родные. Там твой дом. Не здесь. Ты прости нас. И сыночка прости. И поезжай с Богом...

Она взяла её руку, легко отняла от табуретки и вывела Тамару за собой, как ребёнка, посадила в машину. Сын буркнул «спасибо», стал совать какие-то деньги, но Анастасия Васильевна отошла подальше и махала рукой:

— С Богом... с Богом...

Иномарка газанула, рванула с места, свернула в проулок и исчезла из вида.

Лариса осталась прибираться в освободившейся квартире, а участковый вызвался проводить Анастасию Васильевну:

— ...и вот так каждую зиму она сбегает из семьи и живёт у чужих. Документы прячет, чтобы, значит, домой сразу не отправили. Пенсия у неё на карточку капает. Она её не тратит, проживает за счёт добрых людей. А добрых людей на Руси великой ой как мно-ого! Да, Анастасия Васильевна?

Участковый улыбнулся и подбадривающе, по-сыновьи приобнял пожилую женщину. Затем отдал честь и быстрым упругим шагом пошёл

по улице. Анастасия Васильевна словно в ступоре стояла у своей калитки и смотрела ему вслед, пока не заскулил Мазурик, оставшийся без завтрака.

...Прошу, обними меня,
Силой своей защити!
Мне рук твоих нежных,
Тебя не хватает в пути...

Летом от Тамары пришло письмо, невнятное и бестолковое. В конце она просила Анастасию Васильевну выслать ей лечебных трав по списку. Весь июнь та собирала эти травы, сушила, что было, в общем-то, не в тягость. Отправила. Ответ пришёл нескоро, заставив переживать: дошла ли бандероль? Во втором письме, не написав ни слова благодарности, Тамара предлагала открыть бизнес: Анастасия Васильевна будет присылать ей травы, а она реализовывать, так как северные травы у них очень ценятся. Какую выгоду от этого бизнеса получит Анастасия Васильевна, Тамара не уточняла. В третьей эпистоле уже откровенно попросила выслать ей денег на дорогостоящее лечение...

Анастасия Васильевна не один вечер писала ей послание, долго подбирая слова, следя за интонацией, чтобы не быть грубой и надменной с большой женщиной. Объясняла своё финансовое положение, старалась донести, что полагается в жизни только на себя. Оправдывалась, что и так постаралась сделать для неё всё возможное... Но даже выверив и взвесив каждое слово, опуская письмо в почтовый ящик, она не была уверена, что её отказ не ранит Тамару. Подзабытое чувство вины напомнило о себе, тонкой и досадной ноткой вплетаясь в кровоток и покаявая то тут, то там.

В конце августа Анастасия Васильевна вскрыла конверт со знакомым обратным адресом, из которого выпал обрывок газетной страницы, поперёк которого чёрным фломастером Тамара вынесла приговор: «На этом наша дружба кончена!!!»

Анастасия Васильевна долго бродила в тот день в предосеннем лесу, слушая шёпот листьев на ветру, скрип старых стволов, редкие вскрики птиц. Она любила это время перехода лета в осень. Именно в эти дни, перед началом учебного года, а не в конце года календарного, она по привычке подводила итоги, чтобы начать новый этап жизни с чистого листа.

Затихающий после весенне-летнего буйства лес спокойно и мудро покачивал кронами деревья. Убаюкивал, нежил, оберегал от кручины и пустой суеты. Спешить было некуда, и не гнала из леса надоедливая в раннюю летнюю пору мошкара. Только липли невидимые воздушные паутинки на лицо, да таилась в густых ельниках холодная темнота.

Анастасия Васильевна ни о чём не спрашивала себя, хотя, по сути, пошла сегодня в лес за

ответами, которые не всегда удавалось отыскать в душе среди повседневных дел. Ей хотелось тишины, и, неторопко шагая лесной тропой, она сохраняла это драгоценное редкое состояние, покуда сквозь него не пробилась и не зазвучали строки нового стихотворения. Она на ходу сложит, отшлифует его, а запишет уже дома, вечером, вернувшись с полной корзиной грибов и веткой красной рябины.

Нет, не остыло моё сердце!
Я жить люблю сильней, чем прежде.
И, скинув дряхлые одежды,
Ещё задам я жизни перцу!
Я не боюсь обид и мести.
И не точу язык для лести.
Во мне запас стихов,
Его нам
Всем вместе
Хватит лет на двести!

Давай поженимся!

— Серёжа!.. Ну! Улыбнись!.. Прямо в камеру смотри и пирог впереди себя держи... Руки-то вытяни... Ну что ты как деревянный!

Максим присел перед сыном на корточки и заглянул в потемнелые его глаза.

Серёжа стоял, вжавшись в угол между подоконником и газовой плитой. В их тесной кухоньке было душно и неуютно от осветительных приборов.

Оператор выключил камеру и закурил, повесив на своём лице выражение невыразимой скуки.

— Серёжа, ну надо улыбнуться на одну всего минуточку. Они снимут, и всё!— уговаривал отец насупленного сына.— Пирог вот так держи, руки под тарелкой... не надо пальцами его прижимать! И стесняйся нечего. Ты же его сам испёк?

— Сам...— еле прошепел Серёжа.

— Так и скажи прямо в камеру: «А этот пирог я испёк сам, для моей будущей новой мамы!»

— Я не хочу...— ещё тише произнёс сын.— Зачем это, папа? Так стыдно... так... что убежать хочется...

На съёмках передачи всё происходило совсем иначе, чем потом показывали в телевизоре. Максим долго сидел в большой ярко освещённой студии, за знакомым круглым столом, под пиджак ему подвешивали аппаратуру с микрофончиком, гримёр губовато поправляла что-то в причёске и смахивала кисточкой с лица. Три ведущие о чём-то сухо переговаривались. Вокруг них тоже суетились гримёры и техники. С сидящей вокруг на разноярусных рядах публикой репетировали аплодисменты по определённом сигналу. Максим старался улыбаться, пробовал пошутить с гримёршей, попытался поймать взгляд знаменитой ведущей. Но она, если и смотрела в его сторону,

то не на него, а словно сквозь. Взгляд её был жёстким и холодным.

Но вот прозвучала команда режиссёра. Зрители дружно зааплодировали. И лицо ведущей резко изменилось.

— Здравствуйте, Максим! Вот я смотрю на вас: вы такой молодой, ухоженный, и не могу поверить в ту историю, которую вы описали... Что такого могло произойти с вашей, с позволения сказать, женой, бывшей женой, что она ушла от вас, бросила сына... Расскажите нам! Она же загуляла?

— Здравствуйте! — от долгого нервного напряжения голос Максима прозвучал хрипловато. — Так сложилась жизнь. Я расскажу... — Откашлялся и продолжил уже более твёрдо. — Но я не хочу никого осуждать. Мне кажется, что в житейских бедах, а в неурядицах семейной жизни уж точно, никогда не бывает виноват кто-то один...

Родители Люси не были алкоголиками. Они даже проблемными людьми не были. Трудолюбивые, тихие, скромные до закрытости. Кое-кто в деревне считал их нелюдимыми и скупыми, но всё равно здоровался при встрече и вежливо интересовался делами. Работали они всю жизнь на железке, в железнодорожный колледж путь после школы был назначен и их дочери — жили-то на станции, поэтому династии железнодорожников здесь не были редкостью.

Максим с Люсей учились в одном классе, дружили сначала компанией, потом разделились на пары. Так и пошли дальше парой — в колледж, после годичной Максимкиной службы в армии поженились, работали в одной бригаде проводниками на пригородных поездах, потом родился Серёжа, но Люся в декрете недолго просидела — скучала без работы.

В тот августовский вечер они уже заканчивали смену: оставалось четыре небольших перегона до конечной станции. Пассажиров в вагоне было немного — понедельник, люди в основном возвращались с работы, а дачники разъехались накануне.

И вот электричку резко тормознули посреди леса. Встала и стоит. Охрана заметалась по составу, к машинисту, обратно... Максим за ними. Авария! Впереди сошёл с рельсов скоростной поезд. Пока бригады «скорой помощи» едут, пока МЧС вызовут, пока те доберутся...

И охрана, и проводники, все, кто первым на месте оказался, схватили аптечки, фонари, рации и туда...

Машинист двери электрички заблокировал, чтобы пассажиры не лезли, прокричал «оставаться на своих местах». Ему-то своё место тоже покидать нельзя, но побежал всё равно. Женщина в окно стучит, кричит ему. Ничего не понять. Форточку догадалась открыть: «Врач я!..» Вернулся, матюгаясь, выпустил её через свою дверь... Остальные

пассажиры, как дети, прилипли к окнам, пялились бессмысленно в темноту...

Бежали в сумерках, спотыкаясь и скользя по гравию насыпи. Люся за Максимом, следом ещё проводники. Охрана рванула вперёд. Лучи фонарей выхватывали из полутьмы людей, мечущихся на фоне бесформенных огромных тёмных груд. Кто-то кричал о помощи. Кто-то громко и жёстко отдавал команды. Слышались щелчки и скрипучие переговоры по рации. А вообще была какая-то жуткая тишина. Лес кругом чернеет, искорёженные вагоны, рельсы из-под них торчат в разные стороны, погнутые, как проволоочки, провода болтаются, столбы завалены... Аварийный свет горел, но не ярко, а словно жидкий желток лился на всю эту чудовищную картину...

Добежав, они даже не успели спросить куда, что, чего, им уже через разбитые окна стали подавать людей. Максим на всю жизнь запомнил эти ощущения, эту кожу скользкую и липкую от крови, эту теплоту безвольных тел, женские волосы, наоборот, прохладные, путающиеся... Иногда вместо человеческого тела в его руках оказывалась мёртвая холодная тяжесть чемоданов или ледяной металл искорёженных красел — их тоже нужно было вынимать и выбрасывать подальше, потому что там, под ними, стонали живые ещё люди. И люди почему-то всё не кончались и не кончались. Многие выбирались сами: кто слабо раненный, в сознании... Тут же суетились и только мешали совсем здоровые пассажиры, зачем-то прибежавшие из передних не пострадавших вагонов. Какая-то истеричная женщина вскрикивала и рыдала... Мальчишка лет двенадцати стоял в стороне, как столбик, молча... К нему подошёл машинист: — Как ты себя чувствуешь?

Он ответил:

— Хорошо.

— Страшно было?

— Нет, я уже большой. Я понял, что всё хорошо... Маму только надо найти...

Мальчика увели.

Раненых относили и складывали ближе к лесу. Там уже работали женщины: кололи обезболивающее, бинтовали, накладывали шины... «Скорая» хоть и приехала к переезду, но до места аварии проехать было никак нельзя, и они шли пешком по насыпи с носилками, с кейсами своими неподъёмными... МЧС тоже уже давно прибыли на место и оттесняли проводников, благодарили, просили не мешать, а помочь разгонять зевак, сложить в одно место разбросанные вещи, поставить кого-то сторожить.

Максим еле отыскал в этой жуткой круговерти Люсю: она сидела около раненых, кого бинтовала, кому давала пить, кого-то просто обнимала, успокаивала. А увидев Максима, вдруг сама заплакала и стала повторять на одной ноте:

— Как на войне! Как на войне! В кино, помнишь? Если состав разбомбят... Как на войне...

Максим поднял её с холодной сырой земли и повёл обратно к своему составу. Здесь они были уже не нужны, а там надо было успокаивать пассажиров, надо было как-то решать вопрос с их доставкой домой.

— Как на войне! Как на войне...

Максим остановил Люсю и дважды резко ударил её с обеих сторон по щекам.

Она мгновенно ослабла и бессильно сползла к его ногам...

— Пережитое вместе горе, весь этот ужас... бывает, что он сплывает людей, — говорила хорошо поставленным голосом ведущая. — Но это был не ваш случай. Так, Максим?

Вырванный из воспоминаний её вопросом, Максим не сразу вернулся в настоящее и не сразу ответил. Поэтому она продолжала твёрдыми своими комментариями выводить его на нужную по сценарию дорожку:

— А ваша жена после пережитого справиться с собой не смогла... Она стала искать утешения в спиртном и... — ведущая выдержала паузу, — ...в мужчинах. Ни ваша любовь, ни маленький сын её не остановили.

— А вы пытались обращаться к психологу? — спросила в свою очередь холодная, как Снежная Королева, астролог. — Жену вы не пробовали отправить на сеансы психотерапии? Такие стрессовые ситуации можно обрабатывать...

— У нас маленький городок, там нет достаточно квалифицированных специалистов... да и стоит это дорого, — оправдывался Максим.

— Ну что ты хочешь? — обернулась к астрологу ведущая. — Люди в сельской местности относятся к депрессии, как к насморку — само пройдёт и хватит дурака валять! И основное лечение — опрокинуть стопарь... — и она посмотрела на Максима, — чем ваша супруга и стала регулярно заниматься!

— Это не совсем так, — тихо возразил Максим и снова откашлялся — хриплый комок всё время стоял в горле и не давал говорить. — Она сначала... у неё началась бессонница, и она не ела совсем... Ей корвалол выписали, пустырьник, но это же как мёртвому припарка... Я не сразу заметил, что она стала выпивать. Она ведь на работу продолжала ходить, только так получилось, что нас потом в разные бригады развели. И я уже не мог быть всё время рядом...

Просто однажды он учуял исходящий от неё винный дух. Люся отговорилась, что отмечали с девочками чей-то день рождения. Но и назавтра, и ещё через день, и неделю, и месяц... И потом она стала позже приходить домой, всё позже, позже, а как-то не пришла совсем. И утром не вышла

на смену. Он искал её тогда целый день и нашёл только к вечеру в настоящем притоне... Она спала на замызганном топчане совершенно голая, едва прикрытая какой-то серой рваной простынёй.

Максим приволок её домой, отмыл, привёл в чувство... Неделю с ней не говорил. Не мог. Да и она не особо стремилась. Серёжа всё это время находился с её родителями. А она и сыном не интересовалась, и с работы её скоро уволили за прогулы. Максим же, уходя на смену, запирает Люсю дома, отбирал телефон. Но что толку? Через десять дней вечером он опять не обнаружил жены дома. Снова искал её, снова нашёл в притоне, тогда ещё и сам чуть в беду не попал — подрался с её собутыльниками, его порезали, слава Богу, не сильно...

И жизнь превратилась в ад. Почти год он пытался её спасти: всё по тем же притонам, вынимая почти бесчувственную из-под грязной алкашни, вытаскивая полуживую из сугробов, уговаривая, матеря, умоляя сыном, жалея, презируя, ненавидя, любя. Но однажды, в очередной раз отмывая её после загула в ванной, он вдруг увидел её лицо: искажённое безобразной гримасой, с разбитым ртом, где уже не хватало передних зубов, какое-то жёлтое, морщинистое, со слипшимися, скатавшимися в колтуны волосами... Максим понял, что его Люси больше нет, а у его сына больше нет матери. Есть «соска Люська», которая в его жизни больше быть не должна.

В течение месяца он перевёлся на работу в соседний район, переехал, снял жильё, устроил сына в садик и стал жить дальше. Через год ему удалось добиться лишения Люськи родительских прав. Он её жизнью не интересовался, но доброты доносили о «подвигах» бывшей. Ещё через год один за другим умерли её родители, и Люська бурно пропивала доставшуюся в наследство хату. А потом и вовсе куда-то исчезла...

Молодым отцом-одиночкой часто и порой настырно интересовались самые разнообразные женщины. Пытались проникнуть в их маленький мужской мирок. Но Серёжа никого не принимал, да и сам Максим всё ещё не чувствовал в себе сил для создания новой семьи.

— Сколько же лет вы живёте вдвоём с сыном? — ведущая талантливо изображала сочувствие, а может, и вправду прониклась... — Без женской помощи, без ласки...

— Семь, — отозвался Максим, — сын в этом году в третий класс пошёл.

— А давайте посмотрим видео, где ваш сын... Серёжа, кажется?... проводит экскурсию по вашей квартире.

— Да! Нам приданое нужно посмотреть! Квартира-то ваша? Или служебная? — проквাকা в свою очередь «свах».

— Выплачиваю кредит,— сухо ответил ей Максим и впил глазами в экран.

Серёжа так за всё время съёмки и не улыбнулся. Заученные фразы выдавливал из себя сквозь зубы, смотрел исподлобья, а с этим дурацким пирогом вообще: держал его впереди себя на прямых руках, как на лопате, и произносил, почти не шевеля губами: «Это я испёк для мамы...»

На съёмку в студию Серёжа так и не поехал, ничем его Максим не смог уговорить, даже обещанием подарить на день рождения ноутбук.

Видео закончилось, и ведущая бодрым голосом возвестила:

— Ну что ж, знакомьтесь с первой невестой!

Максим поднялся со своего места и на ватных ногах взшёл на сцену.

Невеста вышла к нему на тонких длинных каблуках, выше на целую голову, в белой мини-юбке и смелой красной блузке, чёрные распущенные волосы, макияж, маникюр, ухоженная городская девушка из хорошей семьи... Куда ему до такой? Поедет она за ним в небольшой городок? Будет воспитывать его замкнутого и ранимого мальчишку? Зачем это всё?... Так стыдно... так... что убежать хочется...

В ожидании обратного поезда Максим долго болтался по Ленинградскому вокзалу, ел невкусные холодные пирожки, глазел на обложки журналов, теснившихся за стёклами киосков, купил сборник сканвордов в дорогу и уродливого пластмассового трансформера для Серёжи. Дождило, было сумрачно и смутно.

Уже когда зашёл в вагон, сел на своё место, убрал под сиденье сумку, вынул из неё тапочки и припасы в дорогу, и стал бесцельно смотреть в окно, зацепился вдруг взглядом за фигуру бомжихи, бредущей вдоль перрона. Шла она медленно, еле переставляя ноги, её толкали торопливые пассажиры, задевали чемоданами, тележками. На ней была нелепая яркая куртка с грязными рваными рукавами, широкие, не по размеру, джинсы, разъехавшиеся кроссовки. Она остановила какого-то очень приличного пассажира в дорогом пальто, бесцеремонно схватив его за рукав. Тот, не глядя, достал из кармана пачку сигарет, выудил двумя пальцами одну и протянул ей. Бомжиха порывлась в карманах куртки, нашла зажигалку и, привычным жестом откинув голову чуть назад и набок, долго, со вкусом прикуривала...

Внутри у Максима вдруг сжалось что-то: этот жест головой... как будто она откинула пышные длинные волосы назад, боясь их опалить... но ведь короткая стрижка... и как она держит сигарету в пальцах... и как курит, гордо, с достоинством, запрокинув голову и пуская колечки дыма в равнодушное отсыревшее небо...

Поезд дёрнулся, двинулся, заскрипел, пополз, и поплыл перрон за окном — сначала медленно,

но вот быстрее и скорее. И лица за окном менялись всё быстрее, всё неразличимей, сливаясь в непрописанный коллективный портрет... Потом за окном поплыли городские спальные кварталы, мосты, шоссе, развязки... Потом пригородные дачи и голые лесополосы. Вагонное стекло всё чаще прочерчивало тонкими штрихами дождя, а сумерки настойчиво покрывали законный пейзаж. — Нет... Нет... — дважды, с долгой паузой, повторил Максим и, взяв кружку, пошёл по проходу раскачивающегося плацкартного вагона к титану, налить себе кипятку.

Ненависть

За несколько часов до смерти мать начала дико кричать от ставшей непереносимой боли... Наверное, опухоль, доедавшая все последние месяцы её поджелудочную, лопнула и разлила свой жгучий яд внутри ссохшегося, почти мумифицированного тела. Отец, слышав этот непрекращающийся предсмертный крик, просто оделся и ушёл из дома. Не для того, чтобы позвать на помощь фельдшера, не для того, чтобы принести и сделать уже последний обезболивающий укол, не для того, чтобы хоть как-то облегчить огненную муку жены. Нет. Он просто ушёл. В свою вахтёрскую будку на территории колхозных гаражей. Там он затопил буржуйку, выпил водки и благополучно завалился спать.

После его ухода Валюшка со Светкой ещё долго сидели под кухонным столом. Изо всех сил зажав ладонями уши, они обе кричали в голос, чтобы слышать себя, а не мать. Слышать мать было страшно, очень страшно, так, что худенькие девчоночьи тела под тонкими платяницами немели от ужаса. Казалось, что кричит весь мир, что началась война, что мать ранена, что у неё оторвало взрывом ногу... много чего казалось. Пойти посмотреть на неё ни Валюшка, ни Светка не решились. В спальне было темно. И там, в этой темноте, кричал уже не человек, там кричало, выло, скулило истерзанное, изорванное, изглоданное всей своей прожитой жизнью незнакомое существо...

— Он тебе такой же отец, как и мне! — рубила Светка, тряся на руках орущего от голода годовалого сына и помешивая кашу в алюминиевом ковшичке. — Он мне не отец... — процедила сквозь зубы Валя. — Ну тогда и мне он никто! — легко отрезала сестра и также легко и ловко скинула ковшичек с огня на стол, даже не прихватив его горячую ручку тряпкой. — В конце концов, есть социальные службы... — У них очередь... да и не хотят они к нему... ты же знаешь, на что он похож стал?... — Валя тяжело опустилась на табуретку около стола, так и не сняв пальто.

— А это не моё дело! Они обязаны! А у меня вон — второй на подходе, — скороговорила Светка,

успешная поддевать кашу, дуть на неё и совать в разинутый клюв сына.

— Если есть родственники, то ничего они не обязаны, — бессильно возразила Валя, понимая, что пришла она к сестре зря. Она могла бы объяснять, что только устроилась на хорошую работу, что Виталика надо водить на массаж и в бассейн, что муж уходит в рейс неделя через неделю и не на кого тогда оставить дом... Но она и сама знала, что слова эти только напрасно сотрясут воздух и не заденут Светкиной совести. Да и что с неё возьмёшь? Один все руки оттянул. Новое пузо на нос лезет... Валя даже не стала говорить, что всего лишь хотела просить сестру забирать из школы Виталика в те дни, когда ей надо будет уезжать туда, к этому человеку. Она ничего не стала говорить, потому что сейчас между ними была невидимая, но совершенно непроницаемая стена. А у неё совсем не было сил ломиться сквозь эту стену.

Двадцать пять лет прошло с того зимнего морозного дня, когда их маму похоронили и девочку взяла на воспитание родная тётка. Отца они больше не видели. Никогда. Он не приезжал, не помогал деньгами и никак не интересовался их жизнью. Где-то пил, гулял, мотался по свету. Девчонки забыли, что у них был когда-то отец, забыли, как он выглядел, но глубоко внутри по-прежнему носили какой-то стукот ужаса и памяти о страшном и опасном существе, которое присутствовало в их детстве и терзало их худенькую измождённую маму... С годами эта память осела так глубоко, так запылилась песчинками времени и других событий, что всё стало казаться дурным сном, не более... И вот — звонок оттуда, почти из небытия: звонили из областной больницы, назвали имя, фамилию, диагноз, «больной нуждается в постоянном уходе... вы — единственный родственник, обязаны забрать»...

Только тогда она поняла, что тот человек всё ещё жив. Валя тогда как в тумане была, всё делала на автомате: приехали, забрали, отвезли... Оказывается, и жил он всё это время в соседнем районе, и дом у него там был, и хозяйство, и сожительница...

И очнулась Валя в тот вечер в холодном полутёмном уютном и совершенно чужом доме, оставленная один на один с человеком-овощем, лежащим на узенькой кровати. Только что была суета, люди, разговоры. Громче и больше всех, как всегда, говорила Светка. И в одно мгновение все испарились. У Вали в руках остались пакеты с одноразовыми шприцами, ампулами и таблетками, на полу горой лежали упаковки с пелёнками и памперсами. Кругом была грязь, рваные газеты, пустые коробки, разбросанные вещи, валялись вешалки-плечики — это сожительница в спешке ретировалась с места счастливой семейной жизни.

Человек-овощ дрогнул веками и что-то прошипел. Потом едва заметно шевельнул рукой. Валя смотрела на него тупо и недвижно. Нужно было сделать шаг к нему, нужно было понять, что он хочет, исполнить его просьбу. Но внезапно Валя почувствовала, что в этой захлавленной комнате их всё-таки трое: рядом с ней, плечо к плечу, плотной тенью стояла Ненависть. Она вышагнула из Вали, из того давно задавленного в памяти мрака, и встала рядом как единственная опора и поддержка.

Человек снова что-то попытался просипеть. Валя резко бросила из рук на пол пакеты с лекарствами и выбежала прочь, на чёрную, продуваемую мартовским ветром улицу...

И начались эти полгода. Валя в эти полгода не жила. Она пребывала в коме. Её чувства были отключены: ни боли, ни голода, ни страха, ни тоски, ни горя, ни любви, ни каких-то желаний. Даже тактильные ощущения притупились — к чему бы она ни прикасалась. Горячее стало не таким горячим, и она легко могла обжечься. Вкус еды сделался пресным, и ела она только чтобы поддерживать функции организма. Притупились запахи, кроме самых едких и отвратительных. От таких начинала нестерпимо болеть голова. Чужие прикосновения и ласку мужа она принимала с равнодушием, как манекен. Она сильно похудела, у неё секлись и выпадали волосы, слоились ногти. На уговоры, крики, обвинения, мольбы и просьбы близких «взять себя в руки» она реагировала одинаково молча и бесстрастно. На работе поначалу взяла отпуск за свой счёт, надеясь, что за месяц уж точно найдётся сиделка. Но и одна, и другая женщина, согласившиеся было помогать, ушли на первой же неделе: слишком тяжёлый больной, ходит под себя, кричит... Вале пришлось уvolиться, и дни её сделались совершенно одинаковыми и беспросветными. Да она и не видела дней. Полярная ночь опустилась на всё, что раньше было светлым, любимым, дорогим, единственно правильным и необходимым. Мир вокруг стал для неё бесконечным тяжёлым сновидением. Вале даже казалось, что глаза её закрыты, а видит и слышит она происходящее прямо через череп, каким-то внутренним слухом и зрением.

Она каждый день моталась на автобусе в соседний район, в тот дом. Жить она там не могла. Там было ощущение могилы, словно заживо похоронили. Там всё время смердило. А потому болела голова. Там она всегда что-то мыла, стирала, убирала, выносила, выливала, перестилала, вытирала, обмывала, смазывала, колола, кормила, переодевала. Болела спина, руки. Валя уже давно была надорвана: ворочала в одиночку сухое жёлтое тело, которое, по виду, не должно было весить ничего, но на деле весило, как железобетонная

плита. Как она всё это делала? Кто ей помогал? Сестра приехала один раз и сбегала через час, оставив на столе пару тысяч. Муж возвращался из рейса усталый, раздражённый, хотел видеть жену дома и в хорошем настроении. Сын жил у бабушки, скучал, задавал вопросы, обижался и плакал. А расстраиваться ему никак нельзя... Бабушка-свекровь ворчала, что Валя угробит себя ради этого чёрта, что на сына и на родной дом ей наплевать. Кто помогал? Только она — верная, надёжная подруга Ненависть давала нечеловеческую силу и выносливость, звериное терпение и выдержку. И Валя выдерживала. Всё. Кроме одного. Она не выносила, когда он начинал орать: тонко, тоскливо, пронзительно. В её кожу тогда словно миллионы иголок впивались. Крик сверлил Валин мозг и заполнял черепную коробку стремительно и полно, как несущийся поток воды заполняет любое полое пространство перед собой. Она подходила к нему и начинала бить его по губам. Он кричал громче и тоньше, она била сильнее. На его синих губах появлялась кровь, из бессильных истончившихся век текли крупные слёзы... Тогда она прекращала, выбегала на двор, громко и зангнанно дышала, трудно втягивая внутрь воздух, который усмирлял сердцебиение, охлаждал голову и возвращал в состояние так необходимой ей душевной комы. И тогда она закрывала дом, шла на станцию и ехала домой, чтобы утром опять вернуться сюда.

Что греха таить? Каждое утро, подходя к этому месту, она представляла только одно: вот она входит, раздевается, проходит в комнату, подходит в узкой кровати, и этот человек больше не дышит. Его больше нет. Всё закончилось. Она подробно представляла, как вызовет «скорую», милицию, как тщательнее в последний раз вымоет дом, как закроет его и навсегда уйдёт отсюда, чтобы никогда-никогда больше не возвращаться.

И она входила в дом, подходила к кровати, и смотрела на него: человек-овощ дышал, открывал глаза, сипел. Он был. И ей некуда было от него деваться.

Иногда, очень редко, муж соглашался съездить помочь. Тогда он всю дорогу промывал Вале мозг. Она молча соглашалась с каждым его словом, потому что и сама долго не понимала, зачем взвалила на себя этот крест, который никто нести не захотел. Больше всех надо? Самая правильная? Двужильная? Святая? Хочет показать, какая она хорошая, а все вокруг сволочи равнодушные? Но это общие слова. Ей такого много наговорили... Валя долго копалась в себе и не сразу, но уловила один ясный и дьявольски жестокий мотив: ей нужно видеть всю низость его человеческого падения, его унижение, как он лежит в своих испражнениях, в пролежнях, бессильный,

отмленный старик, и знать, что есть Бог и есть отмщение. Когда эти мысли завладевали Вале, Ненависть улыбалась и обнимала её крепко-крепко. Но оставалась маленькая неясность: если ей, Вале, нужно только отмщение и справедливость, зачем она не бросит этого человека догнывать в его чудовищном смрадном одиночестве? Зачем она всё делает наоборот, ежедневно возвращая его к нормальной человеческой жизни, насколько таковая возможна в его состоянии и положении? Ответа не было.

Через полгода муж ультимативно заявил, что она «должна бросить всю эту дурь» или он с ней разделётся. Валя промолчала и утром снова уехала туда. Вечером дома никого не было. Муж собрал вещи и ушёл к своей матери, где всё это время жил сын. Но хватило его не надолго: вернулся выпивший уже на второй день. Уговаривал, орал, тряс Валу за плечи, бил посуду, раздолбал об пол табурет, плакал, просил очнуться... Потом вдруг наклонился близко-близко к её лицу и выдохнул вместе с тяжёлым перегаром: — А хочешь, я его убью? Достаточно подушкой прикрыть и только...

Валя отшатнулась от мужа, увидела вдруг его остекленевшие незнакомые глаза, убрала руку, которой тот неосознанно и очень сильно сдвигал её колено. И только смогла выдавить: — Иди спать...

Нет, не намерений мужа она испугалась. Она в этот момент в его глазах разглядела себя: как стояла всего неделю назад над тем именно так, с подушкой, как долго и внимательно рассматривала его отвратительную кожу, просечённую чёрными морщинами, тусклые редкие волосы, колючки щетины на подбородке, вздрагивающие, тонкие до прозрачности веки, и особенно долго смотрела на острый, с трясущейся куриной кожей кадкы и глубокую ямку под ним... Ненависть настойчиво повторяла: «Давай! Сделай!» Но кто-то тогда же тихо выдохнул: «Не надо... прошу тебя...» Она вздрогнула и оглянулась. И отшвырнула подушку...

И кормила потом этого с ложечки, не видя сквозь качающуюся на ресницах линзу слёз, что не попадает в безвольно обвисший рот, и каша размазывается по его лицу.

Первого сентября Валя вместе со свекровью провожали Виталика в школу. Муж был в рейсе. И туда она поехала только после обеда. Шла от станции к тому дому через парк медленно и согбенно.

Осень в этом году пришла рано — часто дождило, листва зажелтилась ещё в конце августа, говорили, что в лесах много грибов. А они всей семьёй любили «тихую охоту». Виталик радовался каждой сыроежке, прибегал показывать, возбуждённо заикаясь, рассказывал, где и кого видел. Муж, умиротворённый, бродил с корзиной по

знакомым убранным уголкам, выскивая белые. Сама Валя была неприятзательна и собирала всё подряд. И какие это были счастливые дни!

Валя подошла к детской площадке. Из-за сырой погоды никто сегодня сюда не пришёл. Да и во всём парке она встретила только двух собачников, вынужденно прогуливавшихся со своими питомцами. На сиденьях качелей и на скамеечках стояли лужицы воды, прилипли жёлтые берёзовые листики. Валя присела на бортик песочницы, даже не подстелив ничего под себя. Ей было всё равно—промокнет она или нет. Замёрзнет или нет. Удивительно, но за все полгода она ни разу не простыла, не заболела, если не считать вечно ноющей спины и рук. Закованная, словно в латы, в скорбное бесчувствие, Валя не позволила себе раскиснуть. Ни разу за эти полгода. Вот только сейчас, минуточку она посидит здесь и пойдёт дальше этой выученной до каждой выбоины дорогой, ведущей в ад.

Валя сидела так пять минут, десять, полчаса. Её плечи опускались всё ниже, ниже, уже почти складываясь вместе, вся она сгорбилась, согнулась под не видимой никому тяжестью. Сжав в тугую узел холодные пальцы рук, она тихо подрагивала и покачивалась. На спину и плечи её капал дождь. Сетка около ног упала, из неё выкатились яблоки. Она смотрела на их красные глянцевые бока не моргая, пока не услышала стон—сначала тихий, едва различимый, потом громкий и протяжный. И она не сразу поняла, что стон исходит из её надорванного нутра, что это в ней стонет душа.— Господи... не могу я больше... не могу я, Боженька, нет моих сил никаких, миленький...—шептала она,—нет у меня сил... нет у меня сил... больше нет у меня сил!—голос её постепенно рос, голос звал, кричал, молил, смешиваясь с рыданиями и жуткими нотками почти звериного воя.— Господи, прости меня, помоги мне, Господи, Боже ты мо-о-ой! Помоги мне, прости меня, Господи! Пожалуйста!!! Я не могу больше. Я сама умру... я умру... я умру-у!!!!.. Помилуй ты меня! Его помилуй! Помилуй и отпусти!!! Отпусти... меня отпусти, его отпусти. Пусть он уйдёт уже, Господи-и-и!!! Или пусть выздоровеет тогда!!! Пусть он уйдёт! Прибери его, Господи!!! Или выздоровеет!!!!.. Меня отпусти, я так больше не могу... жить так больше не могу я! Не хочу!!! Нет моих силуше-ек! Боженька милостивы-ы-ый!.. У меня всё боли-ит-ит! Я вся умерла уже! Там всё внутри у меня болит... всё мёртвое внутри-то у меня! Всё выгорело! Всё выболело!.. А-а-а-а!.. Не живу я, Господи!!! Ну услышь ты меня! Пожалуйста, сделай что-нибудь!!! Что-нибудь-удь!.. Пожалуйста... Пожалуйста-а-а-а...

Уже в потёмках, еле волоча ноги, Валя добрела до того дома. Долго не могла попасть ключом

в замок—руки не слушались, дрожали. Долго раздвигалась в коридоре, продолжая тяжело всхлипывать, вытирая и вытирая ползущие по щекам слёзы. Их было не остановить. Много их накопилось за эти полгода...

Она шагнула в полумрак комнаты, включила свет и, хватаясь за стену, сползла вниз. Спустив тонкие, мослатые, как у старого коня, ноги на холодный пол, голый отец неуверенно сидел на кровати, придерживаясь руками за спинку стоящего перед ним стула. От резкого света он быстро заморгал и сделал движение рукой, чтобы прикрыться, но силы его на этом кончились, и он неудобно повалился обратно на кровать, охая и вскрикивая.

Через неделю Светка привезла бойкую сиделку-молдаванку, которую нашла по объявлению. Та, привыкшая зарабатывать деньги таким нелёгким и невёсёлым образом, была достаточно крепкой и физически, и психически, чтобы не впадать в ненужную философию. Работала честно, хорошо, ловко, с шуткой-прибауткой. И укольчики, и упражненьица, и покушать, и прибрать...

Обретя такой надёжный тыл, Валя рухнула и две недели провалялась с высоченной температурой, как сказали бы в старину—в нервной горячке.

Когда она в начале октября приехала навестить отца и сиделку, в доме пахло жилым, было очень чисто. Большой сидел в подушках, уже достаточно хорошо шевелил руками, сжимал в слабый кулак пальцы. Взгляд его хоть и был ещё мутным, но сделался осмысленным. Валю он узнал. Проклокотал что-то, повернув голову в её сторону.

Валя в работу сиделки не вмешивалась, побыла немного, слушая её уютное воркованье, выпила чаю. Забрала грязное бельё и список продуктов и лекарств.

Всю обратную дорогу Валя прислушивалась к себе. Внутри было тихо: ни страха, ни отвращения, ни ненависти, ни любви. Просто тихо. Совсем. Всё, что могла, она сделала.

Иветта, Лизетта, Мюзетта...

У Савельевых родились одни девчонки. Как ни старались Павел с Мариной состряпать пацана—ничего у них не выходило. Через девять месяцев после страстных усилий на свет появлялась очередная барышня. Остановилось на седьмой. Хватит! Этакую ораву «мокрощелок» Павлу надо и одеть, и обусть, и накормить. Но ещё и урезонивать, и терпеть капризы, и желания исполнять, и ссоры, вспыхивавшие в бабьей толчее ежеминутно, тушить... Воспитанием дочерей в основном занималась Марина, а его дело—добывать деньги и кормёжку для восьми ртов. О своём, девятом, почти не заботился, уж что останется. И потому был Павел худ, сух, работающ и сдержан на эмоции.

Спал мало, дома бывал редко: то в лесу, то на пилораме, то на охоте, то на рыбалке. Годы стояли тёмные, лихие—девяностые. Только вертись да срок не схлопочи, и украсть умей с умом, и работай не оглядываясь. Девки росли как во поле трава. Марина тоже за ними не всегда успевала уследить, а потому старшая Наташка с шести лет уже света белого не взвидела—младшие сёстры висели на ней, как серёжки весной на берёзе. В тринадцать лет она выкричала матери с отцом, что те лишили её детства, и сбежала из дома. Вернулась через неделю. И сдержанный Павел в ответ на бабий вой и крики, заполнившие их маленький домик до предела, наказывая Наташку, в сердцах, по неосторожности сломал ей руку. С того дня он окончательно отступился от дочерей.

Зима приходит, похоже, и не собиралась. Истекла вторая декада декабря, а температура днём и ночью держалась плюсовая. Население находило в этом свои плюсы: урожай ягод случился небывалый, и за клюквой ходили до упора—покуда не грянут морозы. Носили её рюкзаками, отвозили в городок, сдавали и на следующее утро, едва отдохнув и обсушившись, снова тянулись на болото.

Павел—заядлый и ловкий ягольник, которого иногда за глаза в шутку называли «комбайном»—пасся на клюкве с октября. Его тощая журавлиная фигура появлялась на тропе, ведущей от трассы к болоту, ещё в утренних сумерках, и без усталости кланялась кочкам до самого вечера. В тот угол, где он ходил, никто уже не совался: во-первых, брать после Павла было нечего, всё до самой малой клюковки выберут из мха его длинные жилистые пальцы, во-вторых, никто не решался даже ради богатой и крупной ягоды лезть в настоящую трясину, где обычно спокойно ходил Павел. Все знали, что его с младенчества брал с собой за ягодой дед и передал внуку многие ведомые только ему лесные хитрости и тайности.

Обычно Павел ходил за клюквой один. Но в это воскресенье договорились с братом поехать на болото вместе. Побрать, переночевать в деревне и рано утром в понедельник отвезти ягоду, а накопилось её уже мешка три, в городок.

Выехали затемно. Мотоцикл оставили у края болота. Брат сразу зацепился за какую-то кочку, а Павел, не терпящий побранной ягоды, уверенно прыгая с кочки на кочку, быстро углубился внутрь, туда, где мох под ногами лениво и мирно покачивался и между островками, алеющими россыпью клюквы, стояли озерца чёрной воды. Неведомая глубина таилась в этих чёрных дырах. На их словно стеклянной поверхности иногда плавала жёлтая листва или обрывки ряски.

Облюбовав местечко, Павел сбросил с плеч лёгкий, почти пустой рюкзак и повесил его на ближнюю жидкую сосёнку. Извлёк из кармана

куртки алый головной платок и повязал на верхушку этого же деревца. Примета яркая, заметная на прозрачном болоте издали. Теперь он будет кружить вокруг этого места с трёхлитровым пластмассовым ведёрком-набирушкой, удаляясь и возвращаясь, не боясь заблудиться. А заблудиться на болоте проще простого: куда ни глянь, на километры одинаковые чахлые сосны да гнилые берёзки, мох да кочки. Сонное провисшее небо над головой и ни души вокруг. Ни птички, ни лягушки. Тихо. Безветренно. Жутко.

Павел склонился к крупным кровянисто-красным ягодам, и пальцы его привычно, скоро, цепко принялись собирать клюкву с сырой холодной кочки. Брал он быстро и чисто, успевая выбрать из горсти случайную мшину, сосновую иголку, почерневший листик. Ведёрко наполнялось за полчаса. Тогда Павел разгibasся, отдышал, неспешно пробирался к помеченной сосёнке, высыпал клюкву в рюкзак. Медленно курил. И снова уходил по качающемуся мху, останавливался, склонялся к ягодам. И снова работали его пальцы—без усталости, без перебоя. Клюква обсыпала кочку тесно, плотно, бочок к бочку. Всё ещё сохранившая твёрдость, весомая, крупная и прохладная, она похожа была на красный град, засыпавший округу из невесты откуда прилетевшей ягодной тучи.

Тишину и спокойные раздумья Павла нарушала только дурацкая песенка, навязчиво звучащая в его голове: вечером девчонки смотрели старую, советскую ещё комедию. Скакали, орали, громко выкрикивая: «Иветта, Лизетта, Мюзетта!» Хохотали, толкались, обзывали друг дружку глупыми заморскими именами. И толку никакого этой песней дать не могли. Только повторяли по сто раз: «Иветта, Лизетта, Мюзетта!» А он и не слушал их, вроде, а вот, поди ж ты, привязалась...

«Иветта... Лизетта... Мюзетта...»

Клюква глухо стучалась о стенки ведёрка. Бродни погружались в сырой мох чуть не по колена. Чавкала и недовольно булькала под ними вода. Даже закутанные в шерстяные портянки, ноги чували, какая она ледяная, эта вода, как властно и упорно тянет мох в свою глубину. Павел с силой выдёргивал сапоги из хлоплющих бочажин, переступал на другое место, вновь погружаясь по колена.

Внезапно тишину над болотом разорвал оклик брата. Павел выпрямился. Откликнулся. Больше оклика не последовало. Значит, всё в порядке. Просто «проверка связи».

Спутнутая переключкой братьев ворона уныло пролетела над редкими верхушками болотных сухостоин и пару раз каркнула раздражённо.

И снова лишь глухие постукивания ягод в ведре. И снова слова песенки в голове: «Иветта... Лизетта... Мюзетта... А дальше-то что? Погремушка какая-то, а не песня...»

Чтобы отвлечься, Павел стал прикидывать, сколько сможет завтра выручить за клюкву и что нужно купить. Олюшке и Викушке — по зимним сапогам. Катька вчера в клочья разорвала куртку — не девка, а супарень, через забор лезла, упала, зацепилась... Тетрадок всем надо, кто-то просил фломастеры... «Иветта... Лизетта... Мюзетта...» Тьфу!..

Павел высypал в рюкзак очередное полное ведёрко. Подстелив пакет, присел рядом с сосёнкой. Достал из кармашка рюкзака «тормозок»: куски чёрного хлеба с салом, пару солёных огурцов, варёное яйцо. Сидел, жевал хлеб равнодушно. Очистил яйцо. Съел. Закурил.

Полинку отвезти к врачу. У Ани день рождения на следующей неделе... Наташка со своими колготками загрызла. А ещё муки мешок, а ещё сахару... А ещё Новый год на носу! Только Сонечка пока ничего не просит. Спит да титьку сосёт.

Павел невольнo улыбнулся, припомнив младшенькую.

Время давно перевалило за полдень, но декабрьские сумерки так и не рассеялись. Лес вокруг стоял в тяжкой дремоте.

Рюкзак был полон, но Павел хотел ещё добрать ведёрко. Ходил уже лениво, выискивая самые крупные ягоды, выбирал не дочиста.

Снова над болотом разнёсся оклик брата. Устал братец, замёрз, домой хочет. Павел отозвался и решил двигаться к выходу. Надел на плечи отяжелевший рюкзак, который сразу придавил его книзу, а потому шаг сделался труднее, ноги проваливались с мох ещё глубже. Выломав для опоры и безопасности длинную крепкую палку, Павел стал медленно и осторожно перешагивать с кочки на кочку, ненароком примечая россыпи ягод, которые оставались теперь никому не нужными. Вряд ли в этом году он сможет ещё выбраться на болото. Наклонился пару раз, но сразу и бросил это занятие: с тяжеленным рюкзаком за плечами очень уж неудобно. Так же неудобно стало теперь прыгать с кочки на кочку. При каждом прыжке рюкзак дёргал назад, словно отдача после выстрела.

«Иветта!» — прыжок.

«Лизетта!» — прыжок, нога чуть проехала по скользкому мху, но он быстро нашёл равновесие.

«Мюзетта!» — прыжок, палка сломалась. Откинул обломки. Примерился к следующей кочке. Оттолкнулся. Под правой ногой предательски хрустнула и просела ненадёжная опора — обросший мхом остов дерева — и оттого прыжок получился недостаточно сильным. Тело по инерции пошло вперёд, но соскользнувшие ноги уже погружались во взбудораженную жидкую ряску, под которой не было никакой опоры, никакого дна...

Павел провалился сразу по пояс, но руками на лету успел ухватиться за ненадёжную твердь, за которой трясина заканчивалась и мох уже не

таил смертельной опасности. Один неудачный шаг, одна секунда, и вот его тело во власти ледящего бездонного пространства, исхоженного поверху вдоль и поперёк, но абсолютно неведомого внутри, в своей глубине.

Да это просто смешно!

Нужно снять и откинуть рюкзак. Держась одной рукой за торчащий из тверди скользкий корень, Павел принялся выбираться из лямок рюкзака. От каждого движения тело словно ввинчивалось в густой кисель трясины, намокшая одежда, напльнившиеся болотной жижей сапоги тянули вниз сильнее двухпудовых гирь. Но он всё же смог стащить и выкинуть рюкзак на высокое место. Собрал все силы, впившись руками в осклизлые корни и ветви поваленных когда-то и затянутых мшанником и ягодником деревьев, вытягивал и вытягивал себя из трясины. Но там, внизу, кто-то гораздо более сильный тянул его обратно! И стоило ему только ослабить хватку, как провалился обратно уже по грудь.

Павел закричал. Но отклика не услышал. Он снова напрягся и тянул себя, покуда не выдохся. Снова крикнул. Отклик раздался не сразу. Далёкий. С другой стороны, чем он ожидал. Звать на помощь — значит, терять силы, надеяться на брата — значит, сдаться и погибнуть. Сам! Только сам! Лишь бы дотянуться до этой берёзки! Какие-то жалкие сантиметры не доставали до неё пальцы! А жадная голодная трясина, распустив липкую бурую слюну, сладострастно тянула жертву в свою утробу...

Держась за корень очоленевшей левой рукой, Павел правой размотал и выдернул из горловины рюкзака шнурок и попытался закинуть его за ствол берёзки. Раз, другой, третий... шнурок зацепился, но нужно было освободить вторую руку, чтобы подтянуть его и наклонить деревце к себе. Раз, два, три! Павел рывком выпростал из болотной жижи левую руку и ухватился за спасительный тоненький шнурок. Но тело его тут же осело в трясину по плечи. В панике подтягивая к себе слабое деревце, едва не упустил его. И только почувствовав в руках казавшиеся спасительными веточки, понял, что берёзка ничем ему не поможет. Он стремительно замерзал и уставал. Всё его измененное тело сделалось словно отлитым из чугуна. Снова крикнул. Уже слабо, уже не понимая силы собственного крика. И решил какое-то время не двигаться, чтобы накопить немного энергии для нового рывка.

Он знал, что долго отдыхать нельзя, но прикрыл глаза и вдруг отчётливо услышал детский смех. Совсем рядом. Девчонки прыгали, визжали и весело повторяли:

«Иветта! Лизетта! Мюзетта!»

Павел улыбнулся и одними губами прошептал: «Олюшка... Викушка... Наташа...»

И, вздрогнув, очнулся! И впился грязными пальцами в берёзку, и со звериным рычанием вытягивал и вытягивал себя из смертельной ловушки, из морока, уже окутывающего сознание. Показалось, что выбрался немного, что отвоевал у трясины несколько сантиметров.

Но только показалось...

Трясина поглощала свою добычу с каким-то почти плотским наслаждением. Даже по-зимнему леденящая, она обнимала, обволакивала, втягивала в себя страстно и как-то совсем по-женски, в свою влагу, в самую её глубину. Спелёнатый этой смертной лаской, уставший сопротивляться ей, Павел делал ещё какие-то движения немеющим телом... точнее, ему казалось, что делал.

Он снова прикрывал глаза, снова отдышал. Тела уже не было. Он его не чувствовал. Но ещё теплилось сознание.

«Иветта! Лизетта! Мюзетта!» — смеялись вокруг неугомонные дочери.

«Вся жизнь моя вами... как солнцем... — вспыхивали в засыпающем мозгу Павла слова, которых он вроде и не запомнил... — как солнцем июльским... согрета... согрета... Полина, Аня, Катька...»

«Иветта! Лизетта!! Мюзетта!!!» — хохотало всё вокруг.

«Вся жизнь моя вами... Сонечка...»

Синие губы Павла дрогнули. Вместо улыбки по ним скользнула боль.

Его всё крепче окутывал морок. В густеющей замедляющейся крови разливалось безразличие. И уже не было страха, не было борьбы...

Жизнь уходила.

До туманящегося слуха долетел окрик брата — такой далёкий, такой нереальный, но его хватило, чтобы кровь ударила в голову, чтобы тело с неистовой силой рванулось вверх из жадной

склизкой пасты, но ничего, совсем ничего не случилось. Последнее движение оказалось не только напрасным, но и решившим исход этой никому не видимой и неведомой битвы. Оклик донёсся снова и внезапно вонзился раскалённым клинком в грудь Павла, разливая непереносимую огненную муку по его телу. Как оно, уже почти мёртвое, могло чувствовать такую боль?! Павел несколько секунд тянул ледяную струю воздуха в обожжённую грудь, чтобы погасить этот адский огненный взрыв внутри... Через мгновение его ободранные грязные пальцы выпустили исковерканную берёзку, и та, словно не веря в свою свободу, распрямилась не сразу, медленно, болезненно расправляя тонкие голые ветви.

Трясина сомкнула гнилую пасть над головой жертвы и сыто утробно отрыгнула...

Часа через два на тихое потаённое место выбрел медведь, так и не залёгший из-за тёплой погоды в берлогу. Он долго принюхивался, улавливая в воздухе остывающие запахи недавней трагедии. Сильно пахло человеком. И главным в густом месиве его запаха был запах предсмертного ужаса. Но ещё тянуло чем-то съестным с кочки, на которой росла ободранная берёзка. И медведь не смог устоять перед этим маниющим запахом. Он ловко и легко перепрыгнул туда, присел и деловито распотрошил намокший тяжёлый рюкзак. Пожива оказалась невеликой: пара раскисших кусков хлеба с салом. Собранную клюкву медведь не столько съел, сколько рассыпал и передал. Не найдя больше ничего для себя интересного, лесной хозяин побрёл дальше. А над болотом повисла та самая сонная и равнодушная тишина, которая предвещает скорый и сильный снегопад.